

Марат Абдуллаев (Дундук)

ИЗБРАННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МУЖСКОГО ЭГОИЗМА

Сборник рассказов

16+

Марат Абдуллаев

**Избранные проявления мужского
эгоизма. Сборник рассказов**

«ЛитРес: Самиздат»

2006

Абдуллаев М.

Избранные проявления мужского эгоизма. Сборник рассказов /
М. Абдуллаев — «ЛитРес: Самиздат», 2006

Говорят, чужая душа – потёмки, что в равной мере относится как к женщине, так и к мужчине. Впрочем, по мнению большинства женщин, мужская душа – потёмки вдвойне. Автор этого сборника рассказов о пережитом и прочувствованном с господствующими стереотипами о сумеречности и закрытости мужской души не согласен.

Содержание

Катя Андреева	5
Избранные проявления мужского эгоизма	10
Дачница	14
Происшествие за чертой осёдлости, или Акушерский поворот	19
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Катя Андреева

До армии я работал на стройке. Понимая, что вчерашний школьник, не имеющий специальности, никому не нужен, я сходил в обком комсомола и, вооружившись соответствующей путевкой, тут же был принят в передвижную механизированную колонну (ПМК) на должность слесаря по ремонту электродвигателей. По «должности», правда, мне ничего не доверили делать и гоняли туда-сюда по всякой мелочи: там поддержать, то принести и так далее. Однако недели через три мне все же определили «специализацию». С утра до вечера я ходил по необъятной стройплощадке с кисточкой и банкой краски и нумеровал трубы, в которые потом закачивали цемент. Сначала я полагал, что надо мной подшутили, но после первого же разноса в бригаде, когда из-за моей ошибки цемент качнули «не туда», я понял, что моя работа хоть и непыльная, но ответственная.

Откровенно говоря, мне невероятно везло. Мало того (в силу возраста, наверное) я был любимцем в нашей бригаде, собранной тогда по сути со всего СССР, поскольку стройка была Всесоюзной и ударной. В ветхом, но битком набитом всяким сбродом общежитии ПМК мне отвели... отдельную комнату.

Строго говоря, комната была трехместной. Почему ко мне никого не подсеяли, несмотря на то, что в соседних комнатах из-за тесноты приходилось ставить даже раскладушки, – до сих пор остается загадкой. Но поначалу я полагал, что этому поспособствовала Оля Зайчикова, комендантша, с которой у меня с первых же дней установились хорошие отношения и которая, кажется, тут же положила на меня глаз. Эта тридцатилетняя, чем-то похожая на цыганку женщина рубенсовских габаритов обычно мне выговаривала:

– Марат, ну ты посмотри на грудь своей Лисички! Ведь это прыщики! У женщины должна быть вот такая грудь!

С этими словами, подбоченясь и выставив перед моим носом свои прелести, плотно затянутые вязаной кофтой, она делала прямо-таки угрожающий шаг навстречу. Я же шутливо прикрывал голову руками, как бы опасаясь, что на меня сейчас обрушатся два тяжелых астраханских арбуза и кричал:

– Ольга, ты бутылку со стола смахнешь!

Это действовало на нее отрезвляюще. Она садилась на место, настолько выразительно навалившись на стол, что нашей с ней бутылке, думаю, было не легче от перспективы попасть под те же арбузы.

– Эх, Марат, Марат, – сокрушенно вздыхала при этом Ольга, – ну что ты в этой Лисичке нашел?

Лисичкой, коль скоро о ней зашла речь, звали медсестру из поселкового медпункта. Когда я только прибыл на стройку, меня, как было тогда заведено перед приемом на работу, отправили на медосмотр. Местная фельдшерица, в кабинет которой я ввалился с голым торсом, разумеется, совмещала все медицинские специальности – от проктолога до стоматолога. И в тот самый момент, когда она прослушивала стетоскопом мою спину, появилась Лисичка, работавшая у фельдшерицы на подхвате.

– Ой, какое тело! – вскрикнула Лисичка, пробежав мимо меня и скрывшись за ширмой.

С этого всё у нас с ней и началось, благо, как я говорил, соседей по комнате у меня не было, а Лисичка жила в том же общежитии двумя этажами выше. Однажды субботним утром Лисичка по обыкновению прокралась в мою комнату (двери в общежитии были без замков) и юркнула под одеяло. Надо сказать, что это ее «юркание» было столь мастерским, что способно было пробудить даже мертвого. Делала она это совершенно непостижимым образом, проскальзывая змейкой по ногам, бедрам, потом по животу, умудряясь на полпути сдернуть с

себя тонкий халатик. Еще две секунды, и соски ее остреньких грудей пронеслись по ребрам, как по ксилофону, отчаянно их щекоча, и вот уже на губах буквально цвел умопомрачительный, свежий утренний поцелуй, дополняющий невероятную свежесть Лисичкиного тела.

Зная, что она обязательно появится, я, как правило, с ночи укладывался в чем мать родила, предварительно отмокнув в душе. Поэтому, когда Лисичка, добравшись до моих губ, начинала движение в обратную сторону, осыпая поцелуями шею, плечи и, в особенности, солнечное сплетение, оставалось только натянуть одеяло на голову, дабы не досаждал утренний свет, и «ловить» Лисичкино лицо где-то в районе собственного паха, чтобы для начала вдоволь насладиться ее губами, а потом уже приступить к самому интересному.

И вот в то утро, едва я приступил к самому интересному, как вдруг буквально над нашими головами раздалось отчетливое покашливание. Я инстинктивно спрятал Лисичку куда-то под бок, сам же выглянул «наружу». Прямо у моей кровати стояла девушка лет двадцати – милостивая такая, миниатюрная, ну, точная копия Кати Андреевой из нынешней программы «Время». Вернее – копия Кати Андреевой в молодости, конечно. Она была одета явно в заграничный спортивный костюм, в одной руке держала полотенце, в другой – зубную щетку с тюбиком пасты. Самой же выдающейся деталью девушки был ее живот, указывающий на крайнюю степень беременности.

Плохо понимая, что происходит, я, разумеется, задал риторический вопрос:

– Что вы здесь делаете?

Девушка повернулась к соседней кровати, повесила на спинку полотенце, а в прикроватную тумбочку не спеша выложила свои туалетные принадлежности.

– Меня сюда поселили. Ночью, – наконец, холодно ответила она.

– Кто?

– Комендант, – пожала плечами девушка. И добавила: – И не только меня.

И тут я услышал, что кто-то завозился в дальнем углу комнаты. Забыв про Лисичку, которая таки успела быстро натянуть халат и столь же быстро испариться, я обмотался одеялом и двинулся на эту возню. На третьей кровати, расположенной в нише за санузлом, сидела типичная городская старуха в крашеном парике и с очень неприветливым взглядом. Я, как мог, быстро оделся, все же продемонстрировав старухе и девушке голый зад, и рванул к Ольге.

– Оля, – заорал я, едва она открыла дверь, – ты точно шизанулась! Мало того, что ты поселила в мужскую комнату двух баб, так одна из них – старая ведьма, другая – на последнем месяце беременности!

– Ничего не знаю, – сухо сказала Ольга, но в ее голосе я все же уловил торжествующие нотки (отомстила за Лисичку). – Это распоряжение начальника ПМК. Иди к нему и разбейся.

Я понял, что понапрасну сотрясаю воздух, и понуро поплелся обратно.

– Да ты не переживай, – крикнула мне в след Ольга. – Старуха завтра уедет, а беременную как-нибудь потеряешь несколько дней.

Ольга словно в воду смотрела со своим «потерпишь». Когда я вернулся в комнату, девушка уже переделалась в свободное платье, на которое накинула плащ, и собралась уходить.

– Может, хотя бы познакомимся? – предложил я, чтобы как-то сгладить неловкость утренней ситуации.

– Думаю, не стоит, – так же холодно ответила девушка и, не удостоив меня взглядом, тихо прикрыла за собой дверь.

В свои нынешние 40 с лишним лет я достаточно четко отметил тенденцию временных наваждений, если уж оглядываться на прожитые годы. Со мною эти наваждения случались нечасто, от силы раза три. Но они сопровождались столь глубокими внутренними потрясени-

ями, столь изнуряли и одновременно наполняли жизненными силами, что я даже затрудняюсь сказать: плохо это или хорошо. Под наваждением я имею в виду банальную «любовь с первого взгляда», конечно. Когда из-под ног внезапно уходит земля. Когда вслед за уходящей землей летит в неизвестные миры голова. Когда внутри все сжимается от осознания собственного бессилия. И когда ужас осознанного, вопреки защитным механизмам психики, разливается по телу невероятной негой и истомой... При этом, ведь, понимаешь, что вот этой самой «любви с первого взгляда» не суждено быть реализованной. На то оно и наваждение, чтобы, подобно mirажу, как возникнуть, так и бесследно растаять...

Но тогда, в неполные восемнадцать, я, конечно, ничего этого не знал и не понимал. И уж тем более не придавал значения тому, почему я вдруг задумался о совершенно мне чужой беременной женщине, неизвестно зачем приехавшую хоть и на Всесоюзную, ударную, но в жуткую глухомань. Вероятно, я исходил из простого – из стремления к обычному, нормальному мирному сосуществованию с человеком, чья кровать расположена на расстоянии вытянутой руки. И это, кажется, мне удалось, несмотря на демонстративную холодность моей соседки.

Поздним вечером той же памятной субботы, когда мы улеглись спать, а старуха в дальнем углу комнаты уже умиротворенно сопела, я спросил негромко, обращаясь к девушке:

– Раз знакомиться не хотите, может, вам что-то рассказать?

Она ничего не ответила, отвернувшись к стене.

– Впрочем, – добавил я немного погодя, – не хотите – не слушайте. Я не вам буду рассказывать, а вашему будущему ребенку.

– Не нужно, – наконец отозвалась девушка.

«Не спит», – отметил я про себя, а вслух, на правах уже старожила комнаты, решил проявить настойчивость.

– Вы спите, спите... Это не для ваших ушей... А вашей малышке (или малышу) я расскажу про своего замечательного друга – Витьку Андреева.

Витька Андреев, конечно, никаким моим другом не был. Просто в последние две недели, когда обнаружилось, что часть труб, которые я маркировал, оказались коротковатыми, бригадир приставил меня к Витьке. Он с помощью электросварки наращивал трубы, пока я, чертыхаясь, набрасывал на них «массу» и получал легкие удары током, а уже потом вчистовую «обваривал» их газовой горелкой. Витька был «химиком», то есть зеком на вольном поселении и каждый вечер отмечался в комендатуре поселка. Нынешнее его положение, хотя до «химии» Витька жил и работал в Москве, причем отнюдь не сварщиком, Витьку ничуть не угнетало. Работалось с ним весело и легко. А что еще нужно было такому пацану, как я, для которого в многотысячной каше строительства нашлась хоть какая-то, но опора?

Вот так я лежал, глядя в темный потолок, и рассказывал моей молчаливой соседке про Витьку. Какой он замечательный парень и сварщик. Как в обеденные перерывы мы делимся бутербродами и пьем прямо из бутылок кефир. Как мы собираемся и, наверное, соберемся на рыбалку и даже охоту, когда Витьке не нужно будет отмечаться в комендатуре. Мне мало что было о нем известно, но я, удивляясь сам себе, рассказывал и рассказывал. О смешных (и не очень) ситуациях. Об утренних «разводах» в бригаде, неизменно заканчивающихся шутками и последующем «разбеганием» по бендежкам за немудреным строительным скарбом. О сварочных «зайцах», после которых невозможно было закрыть глаза. И даже о Москве в переложении с Витькиных рассказов, поскольку в столице я был только в раннем детстве и ничего, кроме очереди в Мавзолей, не помнил.

Самое интересное, что в следующую ночь, когда и рассказывать уже было нечего, да и попытки заговорить с соседкой я посчитал тщетными, она неожиданно спросила:

– А продолжение будет?

И я вновь говорил, еще более поражаясь собственной говорливости, – в темноту, в пустоту, казалось, поскольку девушка не проронила более ни слова, а старуха, как и обещала

Ольга, действительно накануне убралась восвояси. Однако, возможно, я и не был бы столь говорлив, если б не чувствовал, как улыбается моя незнакомка, отвернувшись к стене. Моим ли бессвязным рассказам улыбается, собственным ли мыслям или все более требовательно заявляющей о себе новой жизни в животе, – не знаю. В любом случае, казалось мне, она была небезучастной. И в любом случае, пусть односторонне, я говорил со своим наваждением, ощущая все более поглощающую потребность как угодно, но дольше чувствовать это наваждение подле себя.

... А через три дня в нашей бригаде случилось самое настоящее ЧП, в результате которого Витька Андреев погиб. Произошло это так. С утра нас бросили наращивать трубы, торчавшие в стометровом «теле» сооружения примерно в четырех метрах от земли.

Мы с Витькой сделали импровизированные леса из подручных материалов, как смогли их укрепили и почти полдня продвигались вдоль стены, матеря бетонщиков, обдававших нас сверху брызгами воды.

Стоял ноябрь, по ночам подмораживало, а потому, согласно какой-то хитрой строительной технологии, прежде чем уложить новый слой бетона, нужно было хорошенько пролить водой старый. Ни бетонщики, ни тем более мы с Витькой, работавшие в касках и в монтажных поясах, не видели, что на краю стены в течение ночи намерзали крупные пластины льда. Я вообще посмотрел вверх только тогда, когда по моей каске защелкало ледяное крошево. Витька же ничего не слышал в общем строительном гвалте.

Оторвавшаяся от карниза глыба льда частично пришлась по Витькиной спине и голове, частично сотрясла наши хлипкие леса, резанув, как шрапнелью, по моим сапогам, поскольку я стыковал трубы у самой стены. Я помог Витьке спуститься с лесов; он лег прямо на строительный мусор чуть поодаль и умер буквально через две минуты, пока я стоял над ним и орал в грохочущее пространство: «Позовите доктора!».

В общежитие же вернулся почти ночью, написав кучу объяснительных бумаг для разного рода начальников – от бригадира и инженера по технике безопасности до руководителя строительством и коменданта «химиков».

В комнате меня ждала Лисичка.

– Твою соседку увезли.

– Что значит, «увезли»?

– То и значит. В город. У нее роды преждевременные начались.

Я присел на краешек кровати, туго соображая, что происходит. И спросил почти машинально:

– Не знаешь, к кому она приехала?

Лисичка лишь пожала плечами.

– Не знаю. Кажется, к кому-то из «химиков».

«Химиками», в общем, была заселена чуть ли не половина рабочего поселка. Не зная почему, но я, на ночь глядя, все-таки поехал в город, который находился в 12 километрах. Это был совершенно бессмысленный вояж, хотя я быстро нашел родильный дом и даже заглянул в приемный покой... А потом бродил вокруг всю ночь, вглядываясь в темные окна и пытаюсь угадать, за которым из них находится моё наваждение.

М-да...

PS. Для Екатерины Андреевой, ведущей программы «Время» на «Первом»:

Катя, может, это действительно были вы? Очень уж много совпадений, о которых я не счел нужным упоминать в этом тексте. Впрочем, неважно, если в вашей памяти не осел

мальчишка, встретивший вас и вашу малышку на пороге родильного дома в Тополях и там же, в Тополях, посадивший вас на поезд до Москвы. Важно, что вы поцеловали меня на прощание и назвали, наконец.

Еще важнее то, что я вам сейчас скажу. Я вас любил, Катя. Я вас любил так нежно и так осторожно, что если вы и чувствовали что-то, то только блуждание легкого ветерка по вашему лицу...

Будьте счастливы!

Избранные проявления мужского эгоизма

Утром я просыпаюсь тяжело и бываю раздражен. Жена, обычно встающая рано, ходит на цыпочках. Одевается, и – на кухню, совершенно бесшумно. Если будний день, она поднимает меня за час до службы. Умываюсь, бреюсь – вскипает кофейник. Потом обязательные бутерброды: масло на хлеб, сверху сыр. Курить натошак не разрешает.

У меня добрая жена. Никогда, даже мысленно, я не зову ее «женой». А как-нибудь уменьшительно-ласкательно. Например, «Косточка».

Когда выпивши, или сильно хандрю, она особенно обходительна. Ни упрека, ни укора, ни косога взгляда. Она способна располагать к себе так, что за чашкой утреннего кофе есть, о чем поговорить, и не злиться, если от недосыпу болит голова. И нам кажется: мы счастливы. Хотя бы потому, что не изведали несчастий.

Как-то в феврале я проснулся раньше жены. Было часов семь, воскресенье, окна только только наливались синевой. Жена лежала ко мне лицом – голенькая, забавно подвернув голову и руки. Было достаточно светло, чтобы разглядеть лицо, плечи, грудь. Я смотрел на нее и думал, как люблю эту женщину, хотя скуп на ласки и соответствующие слова, и тихо целовал ее русую головку.

В тот день мы собирались навестить в больнице нашего знакомого Караева. Ему чертовски не повезло. Поскользнулся, упал – жуткий перелом бедра.

Караев в возрасте, у таких сращение проходит медленно, и он мучится, психует, лежа на растяжке, и нас встречает безумными глазами, после чего жена, уже дома, тихо-тихо плачет и, чтобы я пожалел, тянется ко мне:

– Пей, пей мои слезки.

А еще в палате с Караевым лежит парень. Молодой, мой ровесник. Что-то неправильно срослось у него после перелома, его оперировали, ломали кость. Он целыми днями стонал, а когда приходила сестра, чтобы вколоть успокоительное, Караев пугливо смотрел на нее и отворачивался.

Жена говорила сестре: не показывайте больному шприц. Но та словно не слышала. И жена начинала метаться между Караевым и стонущим парнем, а когда уходила сестра, вообще норовила остаться, жалостливо поглядывая на меня.

– Ты подумай, о чем говоришь, – вразумлял ее я. – Сиделка! Им же это... утку подставлять надо!

– Ну и что, Марат? Что ж в этом такого? В противном случае сестру позову.

– А работа? А дом? А я, наконец? Кто все это делать будет? Пушкин?

– Я справлюсь, я сильная.

Я потом махнул рукой. Будь по-твоему. Жалко все же Караева. И того парня. Но зав. отделением не позволил. Когда я вошел к нему и изложил просьбу жены, он непреклонно заметил:

– Еще чего! В мужской палате, совершенно посторонний человек? Увольте!

Едва я коснулся ее щеки, она вздрогнула, откинула руки, заторопилась, сбрасывая одеяло.

Я остановил. Она снова легла, крепко прижавшись ко мне и спрятав на груди голову.

Так мы лежали долго, словно согреваясь.

Минуты обоюдного покоя столь редки и столь значительны для нее, что она, верно, не думает о больнице, о последнем часе, который, конечно, обернется торопливыми сборами и моим недовольством, хотя, несомненно, я и только я удерживаю ее в постели.

В последнее время я не находил себе места. По ночам меня мучил один и тот же сон: кусочек реки, которую наяву я никогда не видел, узкое мелкое руслице, бугорки перекаатов, желтая степь кругом и желтый пожухлый камыш.

Когда я просыпался и вспоминал этот сон, хотелось стонать и скрежетать зубами. Меня изводила эта картина. Жена наклонялась ко мне – и я видел ее совсем иной, не такой, к которой привык. Ни малейшей тревоги в ее глазах, только ласка и нежность, словно я дитя какое, и меня нужно побаюкать, успокоить и дать конфетку.

Однажды ее взгляд, ее голос настолько меня поразил, что я, кажется, стал догадываться, откуда это и следствие чего.

Еще до свадьбы она забеременела. Зная мое отношение к «преждевременным» детям (тем, что рождаются некстати, когда у тебя ни кола, ни двора, ни копейки денег), она втихую сделала аборт и три дня отлеживалась в больнице, сообщив мне в записке, что уехала к матери. Может, все и осталось бы в тайне, однако, когда она вернулась и не подпускала к себе, я вроде что-то заподозрил. А потом, заметив как-то вечером ее набухшую грудь, все понял.

Физически она находилась в мучительном состоянии: молоко шло, а кормить им было некого. Она сцеживала его в стаканы, а я, видя все это, умирал от страха и презрения к себе.

Тогда мы не подозревали о последствиях. Жена сказала, что впредь будет осторожной, что обязательно родит мне мальчика или девочку, как только я пожелаю.

Увы!..

С мыслью о невозможности иметь своих детей я постепенно свыкся. В конце концов, не мы первые, не мы последние. И, слава богу, мир наш еще устроен так, что для кого-то дети обуза. Со временем, думал я, мы примем чью-то обузу на себя, и будет на кого излить нашу любовь.

Как-то по осени пошел на футбольный матч, хотя терпеть не могу эту игру и не понимаю болельщиков. Просто в окружении бурлящих страстей вроде отвлекаешься от невеселых дум и не чувствуешь себя одиноким. Я не смотрел сам матч, пытаюсь, как всегда, расслышать «стадионные» звуки – живущего своей жизнью города. И вдруг уловил тонкий детский голосок. Он слышался внятно и даже, казалось мне, настойчиво, прорываясь сквозь шквал рева и свиста болельщиков.

– Папа, это воробей, да?

Я оглянулся. Маленький белобрысый пацан в бейсболке теребил за рукав ошалевшего родителя. А прямо у его ног скакала отчаянная птаха.

– Да, сынок, – почему-то сказал я мальчишке, – это воробей.

И мальчишка внимательно посмотрел на меня.

Со временем этот эпизод притупился в моей памяти, и я вспоминал о нем уже с меньшим отчаянием, а потом и вовсе равнодушно. Жена словно чувствовала возникшую в моей душе пустоту, и ни сном, ни духом не напоминала мне о прежних моих порывах, тихо печалась и ничем не выдавая свою тоску. Но странное дело: с каким бы методичным равнодушием я не вытравливал из памяти мальчишку, перед глазами оставался его внимательный, почти бесовский взгляд, будто тогдашней, брошенной с отчаяния фразой, я признался в своем отцовстве и одновременно струсил.

– Зачем, – упрекнул я жену, – зачем ты сделала этот проклятый аборт?

Она посмотрела на меня. И мне вдруг почудилось, что оттуда, из ее бесплодной теперь глубины, глянул этот мальчишка.

– Я глупа, Марат, я так глупа. Давай ты женишься на другой...

– Дура! – в сердцах ругнулся я. – Грош цена дешевым твоим порывам!..

Она не обиделась.

– Я честно, Марат... Я честно этого хочу.

Неожиданно для себя я стал бояться вечеров – тягучих, пустых, с ожиданием ночи, последующих будней с обычным коловращением жизни. Чего я ждал, чем мучился, о чем думал? Какое такое событие, важное или тоже будничное, о котором быстро забывают, вернется в нашу жизнь, разнообразит или осветит ее краешком света? Этого я не знал. И только боялся. Боялся вечеров, боялся сна, боялся горького пробуждения. Это пробуждение, чувствовал я, наступит около трех утра. Я проснусь в совершенно пустой комнате со стучащими висками. Встану, подойду к окну, раздвину шторы. И, изнывая от тоски и пустоты, вдруг оглянусь вокруг и обнаружу, что любимой и хорошей моей в этой комнате нет. Брошусь в коридор, на кухню. Присяду, заметив сапоги ее и шубейку со вздохом облегчения. Вырву с корнем двери ванной, туалета, и, не найдя ее там, в вязком этом кошмаре перерою весь дом, обзвоню милицию и морги, а потом сойду с ума от мысли, что больше ее не увижу.

– Не хоти, не надо хотеть этого, – твердил я с паническим ужасом по утрам и беспокойно засыпал, крепко держа ее за плечи. «Нам ведь нет и сорока, – мыслилось мне во сне, – и наша комната еще наполнится детскими голосами».

Я осторожно выскользнул из-под одеяла, нащупал тапочки и все же чем-то грохнул, пока пробирался на кухню.

За окном стояло ясное морозное утро – из тех, что пахнет арбузной коркой. На подоконнике – приготовленная женой для больницы снедь. Отдельно для Караева. Отдельно – для парня.

Что-то вроде ревности коротенько шевельнулось во мне.

Мы лишь однажды говорили с ней на тему измены. И то – по моей инициативе, когда я позволил себе по отношению к ней довольно жестокую шутку.

– Ты знаешь, – спросил я ее, – почему мужчина может изменять женщине, а женщина – нет?

– Я никогда не думала об этом, Марат. Зачем мне это?

– Ну, все-таки.

– Не знаю. Почему?

И я рассказал ей, как мало-мальски грамотный мужчина определяет последствия чужого «вторжения» в женский организм.

– Для этого достаточно положить ладонь на низ живота и выдержать прикосновение в течение четырех минут. И все становится ясно.

Пару раз я предлагал ей пройти тест на измену. Она покорно вытягивалась на кровати, подбирая к подбородку подол ночной рубашки, и с любопытством ждала окончания моих манипуляций. Но мне, по сути, было достаточно ее готовности выдержать испытание.

Помню, как-то она задержалась с работы. Телефоны ее молчали и наш, домашний, молчал, хотя обычные сроки ее возвращения вышли. Я пытался смотреть телевизор, одновременно читая газеты. Мысли крутились вокруг ее уютной конторки, где много цветочков в горшках. И – моя жена, одна на дюжину мужиков.

Я даже припомнил, как выглядит сослуживец, сидящий за столом напротив. Самоуверенный юнец с хорошо подвешенным языком. Такие не оставляют женщинам шанса думать и контролировать себя.

Я представил его каждодневный, мимоходом скольльзящий по моей жене взгляд. Иногда их взгляды встречаются. А иногда, когда он находит повод подойти вплотную, со спины, и склониться над ней для сверки будто бы цифири, – «встречаются» уже случайные прикосновения. У юнца плывут мозги от запаха женского тела и воровато подсмотренного разреза груди.

Отшвырнув газету и, не выключив телевизор, я рванул на такси в ее конторку на другом конце города в полной уверенности, что убью сначала юнца, а потом ее. Но по дороге чуть поостыл. И в конторку входил уже без какого-либо решения. Брякнул что-то про позднее время

и неработающие телефоны, когда вся дюжина мужиков и моя жена оторвались от своих бумаг и вопросительно уставились на меня. Жена, помню, даже обиделась, когда я объяснил, что иных намерений, кроме как проводить до дома, у меня не было.

– А мне показалось, ты ревнуешь, – огорченно вздохнула она, – у тебя было такое необычное выражение лица.

Не знаю, что находило на меня в такие дни, вернее ночи. Я подолгу вслушивался в ровное ее дыхание, стараясь собственным глубоким вдохом вобрать в себя тепло ее тела, запах волос и легкий яблочный аромат, который всегда витает вокруг нее. Она словно бы чувствовала на себе мой пристальный взгляд, приоткрывала глаза и вновь засыпала, плотнее прижавшись ко мне. Что-то отвечала сквозь сон на мой шепот, подсовывая вечно холодные ступни под мои ноги, а я с трудом боролся с желанием сгрести ее в охапку до хруста костей.

И все-таки она просыпалась окончательно. Мы молча, насколько позволял сумрак, вглядывались в лица друг друга. А, может, только вглядывался я, узнавая ее по каким-то для себя необъяснимым признакам. И замечал, как увлажнялись ее глаза, почти черные в темноте. И как бежала слеза – со скулы на подушку.

Я утыкался в ее грудь, простреливаемый до колен легкой дрожью, и она молча перебирала мои волосы на макушке, словно я опять увидел во сне кусочек несуществующей реки. И я чувствовал, что она раскрывается подобно раковине. Что учащается ее дыхание. Что под кожей разгорается пожар и перебегает с ее тела на моё.

В такие дни (и ночи) мне казалось, что мы проживем с нею долгую жизнь. И умрем в один день.

Дачница

Танюха, которая лет пятнадцать назад подрабатывала у меня бухгалтером, была финансистом от бога. Мне ее и рекомендовали в свое время как непревзойденного мастера различных схем, позволявших экономить и уходить от налогов. Время было такое – «черной» и «белой» зарплаты, фирм-однодневок, двойной бухгалтерии и прочего, без чего просто не выживали. И таланты бухгалтеров, умевших ювелирно вести отчетность, договариваться с налоговиками, иметь «в запасе» своих аудиторов и фокусников по части законного превращения безналичных денег в наличные, ценились очень высоко.

Я очень хорошо помню день, когда меня с Танюхой познакомили. Ожидая увидеть дородную и деловито-покладистую тетку (а именно таковой представлялась мне настоящая бухгалтерша), я даже не сразу обратил внимание на щуплое и абсолютно серое существо, ютившееся где-то за плечом моего знакомого, который обещал привести Танюху.

– Вот, – сказал мой знакомый, ставя Танюху перед собой. – С ней у тебя будет счастье по полной программе.

– Обязательно будет, – подтвердила Танюха, – но только не с мая по сентябрь.

Об этой ее странности – бесследно исчезать на четыре, фактически летних месяца, – меня предупредили заранее. Дескать, профессионалам нужно прощать их слабости, тем более, что всё остальное время она будет пахать, как вол. Я с этим согласился, оставаясь сторонником формулы: «поживем – увидим». Во всяком случае, ничто не помешало бы мне выставить ее пинком под зад. Но я, честно говоря, ни минуты не пожалел, что взял ее на работу, хотя она действительно исчезала на всё лето. Ибо с Танюхой я просто забыл о такой головной боли как бухгалтерия. А налоговые проверки, если они и случались, не выявляли никаких нарушений в наших финансах.

Каждый год в сентябре, после почти четырехмесячного отсутствия, Танюха возникала в нашей издательской конторе совершенно преобразившейся. Думаю, ведущей «деталью» этого преобразования был какой-то огонек в ее глазах, который угаснет еще нескоро. И пока теплился этот огонек, Танюха как бы и не собиралась становиться обычной мышкой-норушкой, позволявшей себе, тем не менее, злые матерки. Что-то удивительным образом за лето словно бы подзаряжало её батарейки. И она с довольно энергичной улыбкой могла ввалиться в мой кабинет и запросто спросить:

– Почему ты так невнимателен к нашей Лерочке (Лерочка по прозвищу «Барби» работала моей секретаршей)? Хочешь, она даст тебе прямо здесь, на твоём столе?

И я так же запросто мог ей ответить:

– Иди-ка ты в задницу вместе со своей Лерочкой!

На излете скудных, местами полуголодных восьмидесятих годов Танюха купила полуразвалившийся дом в тверской глубинке. Это было время массового исхода из деревень, когда окончательно пало так и не вставшее на ноги коллективное хозяйство, а в чьи-то ушлые головы еще не пришла мысль разодрать остатки хозяйств на паи. Так что в танюхиной деревеньке на три десятка домов жилыми были только её дом и дом дяди Леши – спившегося осташковского таксиста-пенсионера.

Путь на танюхину «дачу» даже по нынешним меркам, когда народ стал ездить подальше от Москвы и зачастую на собственных колесах, простым не назовешь. Поначалу нужно было три с лишним сотни верст отмахать поездом, который раз в неделю и только в летний сезон

курсировал по одноклейке от Москвы до Осташкова. Потом – сойти на безлюдном полустанке в Шуваевке. Потом – километров десять с тяжеленным рюкзаком за спиной протопать по грунтовой, проложенной через глухие валдайские леса. Вот почему Танюха стала застревать в своей деревне сначала на недели, потом – на месяцы. Ведь такие концы только лишь за «дачные выходные» не одолеть.

Как она поднимала дом, не имея ни инструмента, ни материалов – известно только ей и отчасти – дяде Леше, который иногда приходил к Танюхе в гости с другого края деревни. Однако главной ее ценностью была все же земля. Те двенадцать соток, что окружали дом, стараниями Танюхи за несколько лет превратились в образцово-показательный огород, без единого сорняка, с аккуратно нарезанными и спланированными грядками и тщательно обработанной, унавоженной и облагороженной землей. И выростали на этих грядках такие же образцово-показательные овощи: лук и чеснок величиной с кулак, пропасть картошки, каждый клубень которой мог претендовать на обложку рекламного буклета, столь же высокохудожественные кабачки, капуста, свекла, морковь и прочее, что только могло уродиться на рискованной в смысле земледелия валдайщине.

Я видел эти произведения огородного искусства собственными глазами, когда вернувшись из своей деревни Танюха одаривала ими наших конторских дачниц. Восхищение и здоровая зависть любительниц копать на дачных огородах витали вокруг танюхиных овощей несколько недель. И, разумеется, в вопросах где, что, когда и как сажать Танюха была для них непререкаемым авторитетом, хотя и загадкой тоже. Конечно, они догадывались, что ее выдубленная солнцем и ветрами кожа была отнюдь не результатом курортного загара. Что двенадцать соток земли посреди непролазных бурьянов требуют чуть ли не каждодневного и каторжного труда. Что овощи, прежде чем им стать образцово-показательными, нужно пестовать с момента погружения семян в землю. Что и сама земля только тогда родит что-то толковое, если вскопана, взрыхлена, подкормлена, полита и очищена от малейшего корешка и травинки... Однако, чтобы всё это делать в одиночку, как Танюха, нужно было быть, по разумению наших дачниц, как минимум бабой-буйволом, способной тащить на себе денно и нощно упряжь с плугом на конце, или бороной. Но внешне Танюха совершенно не походила на образ, рисуемый воображением дачниц. Так себе женщина, глазу не за что зацепиться, не говоря уж о руках. Серая, серая.

Пожалуй, я один, да и то не сразу, а спустя пару лет понял, что двигало Танюхой, что придавало ей неженских сил, из которых она выбивалась по полной программе, и что зажигало огонь в ее глазах. Это – предвкушение звездного часа, своеобразного бенефиса, апофеоза бессмысленных по сути дела огородных мытарств. И этот ее звездный час наступал – в окружении цокающих языками дачниц, которых было полно в конторах, где работала Танюха, и которые на фоне Танюхи и с её точки зрения выглядели посредственными и праздными землеройками с их неизменным сюсюканьем: «лучок», «петрушечка», «капусточка»... Минуты невероятной гордости за себя, за то, что может только она, и что она еще не то покажет, затмевали всё в ее сознании. Даже, думаю, случившийся в ее отчасти дачной жизни жестокий факт, остающийся и по сию пору табу и тайной за семью печатями.

Анютка, Танюхина дочь, пока была совсем крохой, на лето оставалась у Танюхиных родителей. Но едва Анютке минуло четыре, Танюха стала забирать ее с собой, в деревню. Летели в тартарары детские чепчики и шапочки, ползунки и колготки; Анютка превращалась в деревенскую девочку, с белым платком на голове, повязанным хаткой, в простеньком сарафанчике и крохотных галошах поверх носочков.

Анна Андреевна, Танюхина мама, настолько устремленная в заботах о близких, что даже говор ее, казалось, вот-вот сорвется на плач, конечно, причитала:

– Танечка, доченька, зачем же ты дитя малое туда везешь?

Но как было матери объяснить, что одиночество в глуши – вещь во сто крат более жестокая, чем одиночество в Москве? Что иступленное копанье в грядках, когда руки делают одно, а голова думает о другом, тянется не вечно. Что проходит май, на который выпадает пик хлопот. Что потом неспешно шагает лето с его светлыми вечерами и столь же светлыми ночами. И что гудящие ноги, едва донесшие тело до кровати, – сущая безделица по сравнению с осознанием полной заброшенности, ощущение которой идет от живота распухающим пузырьком и застревает в горле до утра, позволяя разве что глухо мычать, поскольку крикнуть не получается.

А с появлением в деревне Анютки всё изменилось. Уже одно то, как Анютка на нетвердых ножках пробиралась на огород, брала в ладошки землю и высыпала ее обратно, широко улыбаясь и глядя на мать, вызывало в Танюхе такой прилив умиротворения и необыкновенной легкости, такое спокойствие и ощущение счастья, что всё проведенное в этой глуши время казалось одним днем, угасание которого рождало надежду на начало нового... И он начинался – с бойкого Анюткиного щебетания, когда она умытая, причесанная, с повязанным платочком копошилась где-то рядом-внизу, не отступая от Танюхи ни на шаг и постигая этот любопытный для нее мир. Даже дядя Леша (или на языке Анютки «Ёша»), этот старый одинокий и одичавший пропойца, почему-то всегда вспоминавший, как он встречает Новый год в обезлюдевшей и занесенной сугробами деревне, стал приходить к Танюхе почаще. В этих безумно красивых, но неприветливых местах Анютка казалась центром Вселенной – как оно зачастую и случается, когда все остальное человечество оказывается разбросанным по периферии мироздания и только какие-то одиночки блуждают между черных дыр...

Это счастье продолжалось год, другой, третий... Однажды, в начале мая, когда они ехали в осташковском поезде «открывать сезон», у Анютки вдруг разболелся живот. Танюхина «дежурная аптечка», которую она всегда держала в рюкзаке, вроде помогла. Во всяком случае, от Шуваевки до своей деревни они добрались без приключений, не считая того, что Анютку несколько раз рвало. «Что-то ты съела, Анют» – предположила Танюха, – «Пройдет».

Анютке уже шел восьмой год. Из забавного и солнечно улыбающегося увальня на нетвердых ножках она выросла в щуплую голенастую девчонку с белобрысынами, торчащими из-под платка. И солнечности ей не хватало только потому, что боли в животе вернулись; Анютка хныкала. Это немного раздражало Танюху, оставившую Анютку в доме и отправившуюся на ревизию огорода, перекопанного с осени. Земля после зимы, как это и положено, была заплывшей и остро ждущей весеннего перелопачивания. И Танюха, горевшая нетерпением с февраля, с удовольствием предвкушала это перелопачивание. Когда штык лопаты войдет в землю, как в масло. Когда ком, находящийся с осени в забвении, вывернется наружу, к свету. Когда слегка обсохнет и рассыплется, как отваренная картофелина, рожденная в этой же земле... И в этом – начало и корень Танюхиного успеха. Главное этого начала не прозевать.

А вот Анютка продолжала маяться животом, к вечеру даже температура поднялась. «Потерпи, день-другой – и всё пройдет», – приговаривала Танюха, давая Анютке на ночь питье из ромашковых цветов и ношпу, которая на все случаи жизни. Но это помогало слабо, и Анютка плакала. Тогда Танюха отправлялась на огород: «Господи! Ну не бросать же всё из-за какой-то ерунды!».

Дня через два Анютке стало, кажется, получше. Так решила Танюха. Потому что Анютка почти все время спала, покрываясь испариной. «К выздоровлению».

Анютка умерла около одиннадцати ночи, когда над деревней разразилась жуткая гроза.

Вообще-то непогода собиралась весь день, заявляя о себе необыкновенно изнуряющей духотой, отчего тоненькая футболка на Танюхиных плечах, казалось, плавилась при каждом взмахе лопатой. Тучи, как назло, клубились и выстраивались лишь по периметру неба, а в огромной брешке над головой беззаботно жарило майское солнце. Танюха чуть ли не каждые десять минут возвращалась в дом попить воды из ведра, а заодно приободрить Анютку, кажется, заученной уже фразой: «Потерпи, день-другой – и всё пройдет».

Но Анютка её не слышала. А когда в сумеречном небе полыхнуло, и окрестные леса вздрогнули от первых грозовых раскатов, Танюха поняла, что вновь осталась одна. Ибо ей показалось, что над головой гремит не гром, а лопаются через длинные паузы те самые распухшие пузыри, катившиеся когда-то от живота к горлу. Лопаются яростно – ломая небо и низвергая потоки воды и ветра.

Она плотнее укутала остывающее тельце Анютки одеялом, натопила печь и тупо просидела всю ночь, подкладывая в печь дрова. А поутру вновь взялась перекапывать огород, хотя дождь хлестал нещадно, и ноги увязали в раскисающей земле. Однако временами затишье все же случалось, словно кто-то срывал плотную завесу дождя. И тогда лес начинал куриться длинными султанами тумана в абсолютнейшей тишине. Только изредка и издалека, как с другой планеты, подавала голос кукушка. Танюха бежала в дом и вновь топила печь – до возникновения в горнице легкого аромата деревенской бани «по-черному», который кружил ей голову.

Так продолжалось трое суток – с перекапыванием огорода, периодической топкой печи и тупым бдением по ночам. На четвертые Танюха сходила к дяде Леше, который не просыхал с майских праздников, и взяла у него тележку для перевозки молочных фляг. Уложив на тележку тело Анютки, Танюха пошла в сторону Шуваевки, волоча все 10 километров тележку за собой.

Из Шуваевки мать и ее умершую дочь в сопровождении участкового милиционера перевезли на фельдшерской «буханке» в Осташковскую райбольницу. Немного позже к Танюхе вышел врач и буркнул: «Перитонит». Он привык к здешним и частым смертельным исходам, которых можно было легко избежать, хотя по простоте душевной хотел было спросить: «Чего же вы, мамаша, раньше не приехали?». Но всё же промолчал. Он решил, что Танюха сошла с ума.

Я узнал об этой истории совершенно случайно. Году в девяносто восьмом, когда над Москвой промчался ураган, Танюха внезапно вернулась из своей деревни, бросив огородные дела. Мы поехали на Миусское кладбище, на котором уже никого не хоронят – разве что «подзахороняют» (так, кажется, называется действие, когда в старую могилу кладут еще один гроб). Кладбище выглядело плачевно: выдранные с корнем или просто поломанные ураганом деревья разбили надгробья, искорежили изгороди, а какие-то участки кладбища и вовсе стали непроходимыми. Однако к нужной Танюхе могилке мы все же прошли и обнаружили, что ее пожалела стихия, разбросав обломки стволов за оградкой, ничего не повредив. У Танюхи, я чувствовал, отлегло от сердца...

Где-то поодаль слышался треск бензопил – шла активная расчистка завалов. Я сходил на шум и вернулся к могиле в сопровождении рабочего. Несколько тогдашних неденоминированных купюр быстро решили вопрос с поваленными деревьями. Через час, распиленные на чурбаки, деревья вокруг могилы убрали.

А вот наши с Танюхой отношения, которые хоть и были чисто деловыми, с тех пор разладились. Я перестал отвечать на ее шуточки и матерки, а однажды довольно жестко посоветовал ей не забывать «о своем месте». Когда же она принесла заявление об уходе, я подписал его, даже не взглянув на Танюху. Где она сейчас – не знаю, но по сообщению той же «Барби», Танюха вышла замуж и растит дочь, которой уже лет десять, наверное.

Честно говоря, я и вспоминаю-то о ней с началом дачного сезона, поскольку сам порою балуюсь «любительским» огородничеством и, чтобы не застаиваться, могу посадить ту же «петрушечку» или «лучок». Правда, случается это нечасто, потому что нет-нет, но возле прилавков с семенами сталкиваюсь с таким типом дачниц, которые вызывают у меня оторопь. Вы их и сами, очевидно, лицезрели – совершенно серых, серых, серых, в пляжных панамках шестидесятых годов и застиранных трико, подолгу и нудно, выпучив глаза, изводящих продавцов вопросами о всхожести семян. Какие уж тут грядки? В такие минуты хочется выпить водки.

Впрочем, и сейчас, дописывая этот текст, я махнул уже рюмку-другую-третью... Ибо иногда это лучшее из лекарств, придуманных человечеством.

Происшествие за чертой осёдлости, или Акушерский поворот

В долгие перед сном минуты шум реки напоминал звон осыпающейся витрины. Поэтому ощущение битого стекла за спиной возникало всякий раз, когда я готов был уже сорваться в бездну сна.

Я открывал глаза. В сумраке плыло светлое пятно окна с силуэтами гор и звездами, а гулкую тишину над уснувшим Каду, не считая реки, изредка нарушало бряцание цепей местного волкодава, прикованного к фасаду чайханы.

В ней я, собственно, и жил, появившись в Каду неделю назад. И – скучал, хотя «мою» чайхану местный люд жаловал вниманием чаще, нежели остальной кишлачный «соцкультбыт» – кинотеатр, баню или магазин с названием «Айчурек».

Утро каждый раз начиналось одинаково – с бодрого дребезжания радио, подвешенного за столб. Поминутно откашливаясь, оно вещало полусонному чайханщику Халилу о ходе уборки зерновых, затем приглашало на гимнастику, которую Халил игнорировал.

Едва под закопченными флягами занимался огонь, являлся первый посетитель. Он усаживался на влажные одеяла в ожидании собеседника и немигающе изучал мое оплывшее со сна лицо, нисколько не чураясь собственной назойливости. Когда, наконец, я открывал глаза, он кивал, опережая мое приветствие, затем следовали умывания-одевания под его немигающим взглядом.

...На Тянь-Шань, а именно в Каду, меня занесло любопытство и давняя страсть к историям, связанным с конкретной местностью. От стариков, приглашенных на угощение, я узнал о существовании Кульмазара – Озера Могил, расположенного по эту сторону Ферганского хребта. Оказывается, много веков назад здесь бывал сам Искандер, или, по-европейски, Александр Македонский со своим бесчисленным войском и свитой. И будто именно Озеро Могил каким-то образом прервало его среднеазиатский поход и заставило повернуть обратно, к Ходженту, чтобы оттуда уже идти на Индию. Вот только «мои» старики точно не знали, что на самом деле связывало великого полководца и малоизвестный водоем на верхнем тянь-шаньском плато и почему озеро носит столь зловещее название. Одни вроде бы слышали «какие-то сказки», которые в пору рассказывать детям. Другие начинали подводить материальные объяснения бегства Искандера. Но все единодушно сходились во мнении, что нормальному человеку там нечего делать: далеко, километров сорок, и то по прямой, к тому же без проводника его все равно не найти, а человек, который знает туда дорогу, летом в Каду не живет, пропадая где-то в горах.

В тот же день я познакомился с тамошним сельским головой по имени Улугбек. Это был добродушный улыбчивый малый, имевший по-детски припухлое лицо, большое семейство и педагогическое образование. Каждое утро он подкатывал к чайхане, поднимался по скрипучей лестнице и возникал на пороге во весь свой могучий рост с неизменной улыбкой радушного хозяина и бумажными пакетами в руках, через верх которых проглядывали розовые тянь-шаньские помидоры. Улугбек, конечно, знал проводника, но советовал не торопиться: «Где-нибудь этот Зуддивай обязательно объявится. А как найдем его, договориться будет проще». Однако как скоро это произойдет – никто не знал. Более того, с первого дня я угодил на крючок восточного гостеприимства, потянулись разговоры о том, что в горах не все так быстро делается, угощения, поездки по окрестностям и прочее с некоторыми небесполезными для меня уроками.

Как-то Улугбек привел мне лошадку по кличке Майна. Она была и снаряжена честь по чести, и всадника несла, что называется, не расплескивая воды, так что езда на Майне представлялась увлекательной и полезной. Кончилось тем, что на другой день после несильных скачек я ощутил сильнейшую боль в паху и сделал для себя важный вывод: тренироваться. Но сесть вторично на Майну или другое четвероногое под седлом так и не решился: уж слишком болезненным оказался первый урок.

И все же ожидаемое мною «однажды» случилось. Как-то утром пришел Улугбек и сообщил, что железный конь его взнуздан и готов доставить меня к Зуддиваю, который с чабанами осел на джайлоо – отгонном пастбище в паре десятков километров от Каду. Забравшись в сооружение, бывшее в дни первой молодости «Жигулями», мы двинулись в сторону ручья под названием Сагди-Ункур – благо, какая-никакая дорога, чуть шире козьей тропы, связывала Каду с пристанищем чабанов.

Около часа автомобиль Улугбека тащился вдоль сине-зеленых сопок, отчаянно подвывая на виражах. Колеса добросовестно молотили пыль, и вскоре за нами выстлался белесый шлейф до небес. Плотное скрипучее облако возникло и в салоне. Мы с Улугбеком разом «поседели», но не отчаивались, надеясь на обратную метаморфозу в Сагди-Ункуре. Разговаривать же в клубах пыли было гораздо сложнее. Мы только посмеивались, глядя друг на друга. Улугбек получил струящиеся до подбородка «усы», а я, как носивший тогда усы настоящие, – извилистые «бакенбарды» и бороденку «под дрозда».

Сопки оборвались так же неожиданно, как и появились. Дорога выровнялась, обозначился крутой горбатый подъем в скалах и мы, наконец, очутились на берегу этого самого Сагди-Ункура, не просто ручья, а небольшого озера, поросшего ряской и редким рахитичным камышом.

Скалы подходили к Сагди-Ункуру сплошной непроходимой стеной, образуя практически замкнутый воронкообразный каньон, весь в плешинках каменистых насыпей и можжевельных куп. Лишь у самой дороги то ли пастухами, то ли природой был сооружен пологий глинистый пятачок, на котором притулилась парочка юрт, несколько навесов и еще какие-то времянки неясного назначения.

Едва мы подкатили к джайлоо, из юрт высыпала детвора, вышли женщины, а с ними – огромного роста бородатый мужик лет шестидесяти в куцем узбекском халате, которого, как я понял, и звали Зуддиваем. Начались долгие приветствия, вежливые осведомления о здоровье, сне, детях и прочем, после чего мы с Улугбеком вволю поплескались в озерце, попили кумыс и передислоцировались в одну из юрт, потому как вечерело, а с прохладой из буйных трав вылетело комарье.

Улугбек завел разговоры о главном, ради чего мы, собственно, и приехали к Сагди-Ункуру. Зуддивай больше отмалчивался, согласно кивая головой и исподволь, протягивая энную по счету пиалу с кумысом, цепко оглядывал меня и опять кивал Улугбеку. По мере того как беседа налаживалась, Зуддивай выдавал уже целые тирады, причем так громко и неожиданно, что я всякий раз вздрагивал; от этой монотонности я быстро устал и, спросив разрешения, сел у откинутого полога юрты, время от времени прислушиваясь к густому рокошущему басу Зуддивая.

Розовая гладь Сагди-Ункура отражала вечернее небо. Вытянутое в дыню солнце валилось на нож хребта. На минуту все озарилось мягким осенним светом и, ополчась тенями, ринулось на восток, где лежало в скалах далекое и недоступное пока Озеро Могил – Кульмазар.

У дороги я заметил движущееся пятно, в котором разглядел достаточно крупного ишака, груженного молочными флягами. Одинок, без погонщика, он трусил в мою сторону, понунив морду. Едва достигнув джайлоо, ишак трубно возвестил о своем прибытии и, подогнув ноги, свалился у ближайшей юрты, не дожидаясь, когда с него снимут непосильный груз.

Мы отнесли фляги под навес; ишак же тем временем смиренную позу присевшего верблюда сменил на вальяжную, растянувшись на земле в полное свое удовольствие.

– Совсем состарился Акарты, – пояснил Зуддивай, заботливо бросив у морды животного охапку травы, – весь день ходил, бедняга, теперь не разбудишь до утра.

Я брякнул что-то про лошадь, которую хорошо бы было завести вместо престарелого осла.

– Ему нельзя, – лукаво заметил Улугбек, – и добавил полупшепотом: – Слишком высоко падать, было такое.

Зуддивай, однако, расслышал и без тени улыбки, совершенно серьезно ответил, что это не он свалился с лошади, а лошадь упала под ним, что прежде жеребцы покрепче были, не ломали под седоками хребтов, как нынче. И уже в сумерках, когда на джайлоо вернулся основной состав чабанов, а в огромном казане доваривалось мясо двух (по крайней мере) баранов, я слушал неторопливые разговоры о том, почему в Сагди-Ункуре не ловится рыба, хотя от гуляющих косяков маринки и усача его поверхность буквально бурлит, где лучше этим летом ставить улья – на чабрецовых или ромашковых лугах и зачем некий Исанали выдавал мясо убитого кабана за говяжье...

Ужинали мы под открытым небом, на кошмах, поверх которых были брошены одеяла и несколько подушек. Света двух керосинок, поставленных на скатерть, вполне хватало, чтобы видеть лица сотрапезников, которые поначалу целиком были заняты принесенной на деревянном блюде бараниной. Огромные, неважно проваренные из-за разреженного воздуха куски мяса на костях надобно было брать руками и, ввиду отсутствия какой бы то ни было сервировки, просто вгрызаться в дымящуюся плоть. Впрочем, я обратил внимание, что ни чабаны, ни Зуддивай, ни даже Улугбек каких-либо неудобств при этом не испытывали, ловко орудуя ножами в опасной близости от собственных носов. Кое-как обработанные кости с солидными остатками мяса передавались затем женщинам и детям, сидящим полукругом за спинами мужчин. Ну, а поскольку в относительной близости к «столу» разрешено было находиться нескольким здоровенным псам, тщательно вычищенные косточки, наконец, доставались и им.

Возобновившиеся под чай беседы показались мне утомительными. Я ушел под навес, где для гостей оборудовали ночлег, и тут же уснул. Зато проснулся раньше всех, устав почесываться от укусов клопов, и вышел в глухую и чудовищно холодную рассветную рань.

Над Сагди-Ункуром (это название, кстати, переводится как «десять согдийских слепцов») стояла настолько плотная пелена тумана, что не видно было ни окружавших его хребтов, ни кромки каньона, который я разглядывал еще накануне. Если б не ближайшие скалы, смутно проступавшие сквозь мокрую дымку, я бы решил, что Тянь-Шань мне просто пригрелся.

Почти на ощупь, боясь потерять равновесие на скользких камнях, я добрался до курившегося туманом берега и сунул лицо в ледяную воду.

Со стороны створа каньона, где располагалось джайлоо, послышались какие-то звуки. Я вспомнил вчерашние разговоры про озерную рыбу, которая упорно игнорирует рыбаков, и озвученные Зуддиваем его же «маленькие хитрости». Оказывается, если спуститься вниз по ручью, вытекающему из Сагди-Ункура, и попытаться счастья на естественных запрудах, где замедляется стремительный бег воды, можно без труда надергать ведро османов – местную разновидность форели, отличающуюся прямо-таки боевой раскраской. Видимо, этим туманным утром кто-то из чабанов отправился на промысел, выворачивая в поисках наживки прибрежные валуны.

Между тем шум усиливался и уже чем-то походил на приглушенный рокот тянь-шаньской грозы, которая здесь напоминает камнепад с характерным эхом по близлежащим ущельям.

льям. В космах тумана я уловил какое-то движение и, наконец, прямо на меня из рассветной мглы выскочило несколько всадников.

Разгоряченные кони, видимо почувствовавшие копытами острые камни, резко замедлили ход, и пошли по едва заметной тропе цепью, громко всхрапывая и охаживая хвостами влажные бока. Лица седоков из-за отчаянно курившегося тумана разглядеть было сложно, однако их облачение, а главное, экипировка – тяжелые, отсвечивающие бронзой щиты, притороченные к седлам, поднятые вверх копыта и оружие помельче, бряцающее в такт движению лошадей – все это заставило усомниться, что передо мной пастухи или местные жители.

Тем временем вслед за всадниками появились пешие. Сначала прошла группа людей в длиннополых плащах с наброшенными на голову капюшонами, что делало их похожими на странствующих монахов. Они шли без оружия, связанные, словно альпинисты, одной веревкой, свободный конец которой держал в кулаке следовавший за ними надсмотрщик в полной боевой выкладке – в шлеме, напоминающем баранью голову с завитыми рогами, повешенным за спину небольшим круглым щитом и копьем.

Далее из тумана уже не вышло, а хлынуло целое войско, которому не было видно ни конца, ни края. Несмотря на узость береговой линии, оно старалось придерживаться определенного боевого порядка, двигаясь слаженными подразделениями, основу которых составляли копьеносцы, удерживающие тяжелое оружие на плечах. Фланги же прикрывали воины, несущие чуть изогнутые прямоугольные щиты с рельефными нашлепками в виде круга с острым шипом посередине. Время от времени вдоль стройных рядов проезжали повозки с каким-то скарбом, просто колесницы, управляемые стоящими в полный рост возницами, или группы всадников с копытами и причудливыми штандартами, пращами и луками, кривыми персидскими саблями и увесистыми булавами...

Когда висевшее над Сагди-Ункуром солнце пробило, наконец, толщу тумана, разрозненные полотнища которого хлынули в образовавшуюся брешь, мимо меня прошли, по-видимому, какие-то остатки обоза и конный арьергард, замыкавший грандиозное и многотысячное шествие. Я было двинулся за ними, но идущий последним в арьергарде всадник неспеша развернул лошадь и достаточно красноречиво выставил в мою сторону копьё. Пришлось отказаться от своих намерений, к тому же я услышал крик зовущего меня Улугбека.

Ожидание в горах – худшее из состояний странствующего человека, особенно, если ему нечем себя занять, а вокруг – прорва манящих неизвестностью путей-дорог, среди которых нет двух одинаковых. И все же, пусть и не в положении стреноженной лошади, мне пришлось ждать, разбавляя томительную скуку наблюдениями за сборами Зуддивая.

Собственно, это и сборами-то трудно было назвать. В отличие от моих стремительных приготовлений к походу, когда я всего-то сложил в пластиковый пакет остатки привезенных из Москвы запасов – полкило карамели «Мечта» и бутылку «Столичной» – действия Зуддивая напоминали тихую издевку над здравым смыслом. С утра, как только мы распрощались с Улугбеком, который пообещал вернуться через четыре дня, Зуддивай повесил на жердь переметную сумку-хурджун и не подходил к ней до обеда, молча попивая чай в тени навеса. Потом он увязывал в тюк кошмы и одеяла, постоянно отвлекаясь на совершенно пустые занятия, вроде бездумного созерцания Сагди-Ункура или вершин ближайших холмов. Мне, честно говоря, казалось, что это будет продолжаться все четыре дня, что отпустил нам Улугбек. Однако к вечеру настроение улучшилось, когда, наконец, Зуддивай подал голос, сообщив, что мы пойдем к Кульмазару «самым коротким путем».

Дорога и в самом деле показался мне довольно простой, как только утром следующего дня мы покинули джайлоо. Еще бы, ведь маршрут пролегал вдоль ручья, впадающего в Сагди-

Ункур, а устрашающие высотой и недоступностью хребты оставались то справа, то спереди, внося в наше передвижение должную долю экзотики.

Шествие возглавлял неутомимый ишак Акарты, совмещавший функции поводыря и носильщика, за ним спортивно вышагивал Зуддивай, я же замыкал наш небольшой отряд, пребывая в беспечном благодушии.

Честно говоря, здесь было на что посмотреть. Когда-то, в доисторическую эпоху, называемую по-научному ледниковым периодом, климатические катаклизмы обошли эту местность стороной, сохранив флору в том виде, какой она была при динозаврах. После выжженного солнцем ландшафтного однообразия Ферганской долины, где в зеленые цвета были одеты разве что хлопковые плантации, шелковицы вдоль дорог да крестьянские наделы в кишлаках, подступы к хребту казались райскими кущами, в которых, применительно к растениям, казалось, нашлось «каждой твари по паре» место. Однако если к всевозможному «мелкому» разнообразию и разнотравью в виде ромашек, васильков, иван-чаев и прочего можно было быстро адаптироваться, другая реликтовая экзотика немедленно вводила впервые попавшего сюда человека в некоторое подобие ступора.

Временами мы попадали в лабиринты двухметровых (!) эремурусов, листья которых змеились по камням, а на стеблях, толщиной с арматуру, густо полыхали розовые соцветия, источающие запахи восточного базара. Из-под барбарисовых кустов, на которых кисточками зрела кислая синеватая ягода, воинственно торчали травянистые колотушки, оснащенные мозаичными головами самых причудливых оттенков. Склоны холмов, бегущих к подножию хребта, представляли собой сплошной лес из грецкого ореха, буквально выдыхавший пряные йодистые ароматы, а сиротливо возникавшие в ореховой чащобе дикие яблони или алычи ломились от мелких ярких плодов, которые сыпались от малейшего движения ветвей.

Однако благодушествовать мне пришлось недолго. Так сравнительно скоро мы оказались на насыпях, в колючих кустарниках на такой чудовищной крутизне, что, ей-богу, мне подумалось: Акарты придется выступать в роли буксира, ибо никакая сила не даст осуществиться восхождению.

Обливаясь холодным потом, в пыли, я едва поспевал за Зуддиваем. Каждый куст, за который я хватался, теряя равновесие, казнил огнюдь не булавочными уколами. Ладони кровоточили, брюки на коленях превратились в лохмотья, меня не оставляло желание ухватиться за Акарты, взбрыкивавшего всеми четырьмя своими опорами.

И он, и его хозяин ломились в гору как заводные, ни на секунду не задерживаясь, а у меня лопалось сердце и вскипала кровь. «Не стой, – подгонял меня Зуддивай, – нельзя стоять», – и я карабкался за ним, кляня в душе молодое свое бессилие.

Словом, восхождение на вертикаль окончилось для нас по-разному. На перевале я позорно выдохся, даже не оценив по достоинству открывшийся вид, старик был, наверное, готов еще разочек спуститься и подняться вверх, что касается Акарты, переход не внес в его настроение решительно никаких изменений.

Близился вечер. Я лежал на траве, опершись локтем в брошенный Зуддиваем хурджун. Усталости почти не осталось. Душа и тело пребывали в полусонном умиротворении, что, конечно, я не замедлил приписать воздействию высокогорья. Мы расположились очень удобно, как на арене, если добавить, что вершина холма являлась неплохой зрительной площадкой. Вокруг стояли порыжевшие в сумерках хребты, и снега, совсем близкие, создавали ощущение тишины и покоя.

Зуддивай возился с кошмами, располагая их для предстоящего ночлега. Его движения показались мне несколько странными: руки то и дело возносились к небесам, пробегали по лицу и опускались к кошмам. Он стоял на коленях, обратившись к закату, и порой наклонялся

так низко, что тело его сливалось с темными уже кустами и дугой холма. Пластика движений была завидной – я было подался в его сторону, но вовремя остановился. Вовсе не закату кланялся Зуддивай, а в сторону Мекки, да так истово, словно позвоночник его был сделан из резины.

Я стыдливо отвернулся, потому что молитву нарушать нельзя. Теперь я видел Акарты, вволю жевавшего травку, и думал о странном противопоставлении, явившемся мне, где один «замаливал грехи свои», другой «обыденно трапезничал».

Далекie скалы напоминали тщательно смятую бумагу: каждая складочка была освещена особо. В этом нагромождении изломов и распадков наш круглый холм являл непродуманную правильность. У его подножия, куда нам предстояло сойти утром, змеилась необычная каменная гряда, оттеснившая от себя кустарники и дерева. Это было настоящим царством валунов, причудливо сгрудившихся у одинокой черно-глянцевоy скалы, полого выпиравшей из каменного месива. Когда ненадолго по дну ущелья скользнул запоздалый отсвет заката, это самое царство вспыхнуло таким резким светом, что я зажмурился. Казалось, далекие камни были вовсе не камнями, а снегом, мгновенно отразившим блуждание света.

На мой невольный вскрик отозвался Зуддивай, закончивший молиться. Он подошел сзади и стал рядом, беспристрастно оглядывая огненный ледник. – Это и есть Кульмазар, – сказал он просто, – Озеро Могил.

Зуддивай занялся приготовлением пищи. Стоял мусульманский месяц Рамазан, есть полагалось до восхода и после захода солнца. Я вспомнил историю, связанную с этим обрядом, которую мне рассказали старики в Каду. В один неурожайный год Магомет обратился к Аллаху с просьбой научить, как не остаться голодным и зерно под посев сохранить, и будто Аллах посоветовал пророку воздержаться от пищи в течение четырех недель. Там был придуман пост – ураза, который мусульмане соблюдают и в наши дни.

В темноте я наткнулся на Акарты, но ишак не повел, как говорится, и ухом. Вытянувшись на траве, он безмятежно похрапывал, благо в этих местах его не донимали насекомые. Небо было низким и таким звездным, словно где-то в других местах бушевали вселенские штормы, и звезды сгрудились в эту единственную тихую гавань. Звездную гавань над нами – ослом, старцем и далеко уже не отроком.

Впрочем, не знаю как на небесах, а в ущелье начинались какие-то завихрения и до нашего бивуака все явственнее доносились воюющие отголоски ветра. Ночью я несколько раз просыпался от ощущения, что распадке, где лежал Кульмазар, носится табун лошадей. Выбираться из ласкового тепла импровизированного спального мешка очень уж не хотелось: мало ли как может шуметь, набродившийся по ущельям ветер! И все же (правда, уже по нужде) встать мне пришлось.

Оба берега Кульмазара, растянувшегося в низине между холмами на несколько километров, чем-то напоминали ярмарочную площадь в день оживленной торговли. Стремительно наступавший рассвет методично гасил точки костров, дым которых, сплетаясь с султанами тумана, тянулся над кожаными шатрами. Всюду наблюдалось движение, столь же хаотичное, как в муравейнике, но столь же и организованное. Повозки, колесницы, прочие тележки и брочки, которым в современном языке трудно подобрать название, сгрудились у подножия «моего» холма. А береговую линию, словно намеренно, освободили для передвижения конных и пеших, явно собиравшихся по подразделениям или отрядам.

По моим поверхностным прикидкам на ближнем берегу было сосредоточено несколько тысяч всадников и чуть меньше – безлошадных, которые все больше теснились к «стоянке» повозок или обозов, чтобы ненароком не попасть под копыта разгоряченных лошадей.

Противоположный берег Кульмазара представлял еще более впечатляющее зрелище. Причем, не столько из-за обилия разноцветных шатров, над которыми вились полотнища знамен и змееподобных штандартов, сколько из-за... слонов. Их было не менее пяти сотен – «разодетых» в пестрые, с золотой вышивкой, накидки и несущих на себе какие-то конструкции, схожие с автомобильными багажниками для Кэмэл-трофи.

Для чего собралось такое количество вооруженных людей по берегам Кульмазара, можно было только догадываться. Одно не вызывало сомнений: где-то эти войска должны были сойтись. Причем, отнюдь не для мирных рукопожатий, поскольку бесконечные перестроения пеших и все более закручивающийся водоворот всадников, напоминал своеобразный «разогрев» бойцов на ринге, готовых через минуту-другую броситься друг на друга.

В своих предположениях я не ошибся. То ли поднимающееся солнце прозвучало своеобразным гонгом для атаки, то ли так и не слышанный мною зов трубы, но в какой-то момент войско по обоим берегам встрепенулось и практически параллельного друг другу ринулось к створу ущелья, из которого вытекала перекатистая речка, питающая Кульмазар.

Пригибаясь к валунам и чахлым кустарникам арчи, я короткими перебежками устремился за пешими колоннами,двигающимися в арьергарде всадников и конных колесниц. Хотя можно было и не маскироваться, поскольку тысячи ног и копыт в считанные минуты подняли над Кульмазаром завесу пыли.

Наверное, этот Богом забытый закоулок Ферганского хребта никогда доселе не слышал столь яростную какофонию грохота, в котором смешались лязг оружия, конский топот, крики людей и рев боевых труб. Речушка у створа ущелья, мелкая настолько, что из-под копыт вошедших в нее лошадей выскакивали зеленоватые донные камешки, в одно мгновение окрасилась в кофейный цвет, а потом и вовсе почернела.

Каким-то образом всадники с «моей» стороны, пересекающие реку искривленной многотысячной шеренгой, быстрее одолели середину стремнины, вырвавшись на относительно спокойный плес. Там шеренги противников и столкнулись, образовав хаотичное, ошестившееся копьями месиво из людей, лошадей, развивающихся полотнищ и поблескивающих на солнце мечей и сабель.

Картина была одновременно и величественной, и ужасной. Особенно, когда к ожесточенной рубке всадников подтянулись с двух сторон пешие, и когда относительно ровно бурлящее побоище уже напоминало гигантский котел, содержимое которого вращалось в разные стороны концентрическими кругами.

Течению реки, даже на стремнине, не хватало «сил» подхватывать упавшие тела и лошадиные туши. Поэтому схватка продолжалась на изрубленных и исколотых трупах, между которыми шевелились, по-видимому, еще живые, но беспомощные люди и агонизирующие животные. И если в начале битвы груды павших, по которым проносились колесницы и всадники, выглядели небольшими кровоточащими островками, то совсем скоро островки превратились в огромное и многослойное «поле», поверх которого, как в паводок, прорывалась река.

Несмотря на гложущее меня любопытство, я предпочел укрыться на некотором удалении от схватки, тем более что о скалы, служившие мне временным укрытием, постоянно стучались «шальные» стрелы, обломки каких-то железок и камней. И все-таки основные детали побоища я видел отчетливо, благо утро, как только разошелся туман, установилось настолько прозрачным, что, казалось, даже до складок ледников, обычно подернутых дымкой, можно было дотянуться рукой. Возникал удивительный оптический эффект, когда глаз, обычно фокусирующий ближние предметы и объекты, собирал в единую четкую «картинку» и «передний план», и перспективу без каких-либо границ, теней и цветовых переходов. Бело-металлический фон хребтов, над которыми холодная синь неба, темно-зеленые кругляши арчи и фисташковых кустов на прилепившихся холмах, и пестрая круговерть схватки у подножия безмолвной вечности, этой же вечностью приглушенная...

Но еще более меня поразило буквально ползущий по земле и растекающийся вокруг запах, одновременно напоминающий кисловатый запах окалина, пота и... свежего навоза. Да, я видел, как в самой гуще боя, трубя и с хрустом растаптывая тела, медленно переваливалось несколько слонов, со спин которых, сверху вниз, орудовали копьями по несколько наездников. В копошащейся свалке это походило на работу гребцов, беспорядочно опускавших и поднимавших вёсла. Однако то тут, то там, исколотых и изрезанных животных все же поглощала людская пучина, и «гребцы», как бы напоследок махнув «веслами», без остатка растворялись в рубящемся месиве, на котором тут же возникали новые слоны.

И все-таки я, видимо, увлекся, не сразу заметив, как со стороны побоища, оторвавшись от общей массы, прямо к «моим» валунам ринулось пять или шесть всадников. Впрочем, мне все равно некуда было бежать, так как за спиной высилась практически вертикальная скалистая стена. Скорее инстинктивно, на манер местных ящериц, замирающих на камнях от малейшей опасности, я плотно прижался к поверхности валуна, служившего мне «смотровой площадкой». Правда, всадникам, остановившимся всего в тридцати метрах от моего укрытия, было явно не до меня. Едва группа зашла за валуны, ко мне в «тыл», лошадь под одним из наездников, то ли оступилась, то ли оказалась загнанной. Она рухнула на ровном месте, как подкошенная, сбросив седока. Очевидно, это был какой-то военачальник, хотя одеянием и вооружением он мало чем отличался от остальных. Стремительный жест рукой – и бросившиеся ему на помощь люди тут же повернули в сторону лежащей лошади.

Размерами животное напоминало современную пони – от силы метр с копейками в холке, с непропорционально большой головой. Оно еще подавало признаки жизни, перекатываясь со спины на бок и тщетно пытаясь подняться. Однако это скорее была все же агония, поскольку окружившие ее люди даже не попытались помочь. И точно: не прошло и нескольких минут, как лошадь замерла окончательно. Ее хозяин тоже понял, что произошло. Он так и остался в прежней позе – на коленях, с опущенной головой, продолжая хранить молчание в повисшей тишине. Мне же оставалось, как упомянутой ящерице, соскользнуть со своего валуна на противоположную сторону и во весь опор ринуться к лотку откоса, по которому я первоначально вышел на берег Кульмазара.

Зуддивай заканчивал увязывать кошмы, а сбором остального скарба занимались два молодых киргиза. На мой вопросительный взгляд Зуддивай никак не отреагировал, к чему я, в общем, привык, находясь в его обществе эти два дня. Собственно, и без слов было понятно: мы возвращаемся на джайлоо, поскольку просьба Улугбека выполнена и Кульмазар увиден мною воочию.

Как это и должно быть в азиатской горной местности, когда холодная ночь и, не менее холодное, утро сменяется жарким днем, высокое солнце плавало росу, оставленную исчезнувшими облаками. Ведь мне поначалу только казалось, что тьянь-шаньские молочно-белые рассветы – пусть и дальние, но родственники наших, российских. На самом деле, если горы не затягивало грозным свинцом, проступающим здесь наиболее рельефно от соприкосновения тверди и небес, в ложбинах, ущельях или среди одиноких скал просто ночевали кучевые облака, увлажняя камни и траву, а с первыми лучами солнца уносились неведомо куда. В любом случае, коль предстоял спуск, а не подъем, нарастающее пекло меня не смущало. И я с оптимизмом принялся паковать свои пожитки, состоящие всего-то из куртки и пакета с упомянутыми конфетами «Мечта» и абсолютно ненужной бутылкой «Столичной».

Каково же было мое удивление, когда, закончив сборы, киргизы забрались на лошадей и двинулись в сторону, совершенно противоположную той, откуда мы пришли. Но уточнять маршрут было уже не с кем, поскольку Зуддивай, навьючив смиренно стоявшего Акарты, пошел вслед за ними. Я тоже решил не отставать, тем более, что двигались мы по направле-

нию к горной роще, теряющейся в синеве ущелья, а мне как-то было не по себе в этих молчаливых куцах, незнамо как растущих на камнях. Собственно, ощущение невнятной тревоги только усилилось, едва мы ступили в сумрак и прохладу рощи, сплошь состоящей из грецкого ореха. Правда, подстегивали это ощущение не фантомы, обычно возникающие в стылом воздухе любого леса, а сначала невнятные, но становящиеся более отчетливыми женские крики, которые можно было назвать душераздирающими. Зуддивая и киргизов, которые оставались невозмутимыми, это нисколько не настораживало и не беспокоило. И только это обстоятельство подсказывало мне, что им известна природа этих криков.

Не знаю уж, какими резонами руководствовались киргизы, устроив джайлоо не близ горных лугов, где удобнее выпасать скот, а на лесистой поляне, но именно к такой поляне мы и вышли спустя полчаса. Часть открытого пространства занимал загон для овец, а почти вплотную к загону стояла юрта со всеми традиционными для джайлоо «подсобками» в виде крохотного огородика с подсолнухами, закопченного очага и навеса, сквозь крышу которого проглядывало небо. Душераздирающие крики доносились из юрты, рядом беззаботно вилась детвора, не обращая внимания на двух причитающих старух.

Некоторое время Зуддивай о чем-то переговаривался с киргизами, затем, цыкнув на старух, мгновенно переставших причитать, скрылся за пологом юрты. Крики постепенно стихли и над джайлоо повисли обычные для отгонных пастбищ звуки – побрехивание собак, позвякивание посуды, да редкое бляение овец, среди которых гордо расхаживал пятнистый козел.

Закатистый детский плач тоже вполне вписывался в эту «картину». Здешние ребяташки, точное количество которых мне так и не удалось установить, жили своей, отличной от взрослых босоногой и очень упрощенной жизнью, когда те, что постарше просто обязаны следить за младшими. Я достаточно быстро в этом удостоверился, когда подошел к вопящему карапузу, сидящему на вытоптанной овцами земле, и протянул, чтобы успокоить, горсть карамели «Мечта». Малыш лишь на мгновение затих, проявляя интерес не столько к конфетам в розовых фантиках, сколько к незнакомому «дяде». И вновь заголосил, пока к нему не подбежала, видимо, сестренка и не сунула в грязную ладонь обломок высохшего подсолнуха с семечками. Эта «соска» показалась малышу более привычной, нежели не понятные и ни разу в его жизни еще не встречавшиеся конфеты. Малыш, наконец, замолк, а гостинцы перекочевали в обветренные ладошки остальной ребятни, которые, полагаю, все же как-то с ними разобрались. Мне, увы, не суждено уже было за этим проследить. Ко мне подошел один из киргизов и, кивнув головой в сторону юрты, коротко сказал: «Иди».

Я вошел в юрту, в которой было сумрачно и душно, и раздавались глухие женские стоны. У довольно толстой и отполированной временем жерди, подпиравшей свод, стояла (как я понял позже) роженица, одетая в некое подобие ночной рубашки, больше напоминающей застиранный пододеяльник. Возле роженицы орудовал Зуддивай... привязывая ее кисти к жерди высоко над головой. Заметив меня, старик «законтрил» на кистях ремешок, перебросив его через верхнюю развилку жерди и, приблизившись ко мне, цепко схватил за запястья. Я понял, что он зачем-то изучает мои руки, выворачивая кисти и так, и эдак, и пробуя гибкость пальцев. В далеком детстве я учился в фортепианной школе, что, конечно, не могло не отразиться на пальцах и их пожизненной, наверное, подвижности, несмотря на то, что они перестали касаться клавиш.

– Принеси водку, – наконец подал голос Зуддивай.

Ситуация складывалась столь необычно для меня, что я не удивился, когда Зуддивай, откупорив «Столичную», стал лить водку на мои исцарапанные вчерашним переходом ладони. «Столичная» жгла еще не затянущиеся ссадины, но я сообразил, что Зуддивай льет водку не просто так и даже не просто для дезинфекции ссадин. Поэтому, «подхватывая» ладонями струю «Столичной», я стал мыть ею руки, как обычной водопроводной водой, тщательно растирая тыльную сторону ладоней и особенно – пальцы.

Покончив с «мытьем», старик подтолкнул меня к мычащей от боли роженице и резко задрал подол ее рубашки, увязав его где-то на уровне груди. Дальнейшее мне уже казалось сном, в котором я одновременно был и зрителем и действующим лицом. Намотав на крючковатую ладонь не то тряпку, не то вафельное полотенце, Зуддивай неожиданно, почти без замаха, с такой силой ударил вновь начавшую кричать женщину по лицу, что та моментально затихла и осела мешком, повиснув на привязанных к жерди руках. Вновь цепко схватив меня за запястье правой руки, Зуддивай сдавил мои пальцы, выпростав наружу только указательный и средний.

– Так держи!

Не успев сообразить, что значит «так держи», я почувствовал собственные пальцы погруженными в женское чрево. Оно было узким, горячим и мокрым. Мокрым настолько, что остро пахнущая влага ручьем текла по ребру моей ладони до локтя, а с локтя – на брошенные под повисшей роженицей одеяла.

– Щупай! – доносилось откуда-то сверху, но что нужно было «щупать» и как, если пальцы в чреве роженицы можно было лишь слегка согнуть, до меня не доходило.

Тогда я принялся выкручивать кисть, пытаюсь, не сгибая пальцы, сконцентрировать все свое осязание на их кончиках. И, наконец, почувствовал, что пальцы упираются в тонкую стенку какого-то пузыря, который слабо пружинил при надавливании. Я кивнул Зуддиваю, и из следующего его жеста понял, что мне теперь надобно, орудуя пальцами, как пинцетом, защемить обнаруженную «стенку».

– Тяни!

В следующую секунду из чрева, которое и так беспрестанно сочилось, хлынул водопад крови и слизи, обдав мои локти, бедра и колени. Я невольно отпрянул назад, размазывая кровь по рубашке, лицу и валяющимся вокруг одеялам. Из чрева же женщины, между тем, вынырнул и повис петлей не то шнур, не то часть кишечника.

Зуддивай принялся невозмутимо сдавливать живот роженицы – примерно так, как сдавливают арбуз, проверяя его спелость.

– Щупай! Очень мало времени!

И мои пальцы вновь погрузились внутрь женщины, хотя на этот раз им уже основательно мешала выскочившая наружу пуповина. Однако на ощупь внутренний мир несчастной радикально отличался от того, каким я его осязал, пока не порвал оболочку плаценты. У самого входа в этот мир, живой, разумеется, и живущий собственной жизнью, явно теплилась еще одна жизнь. Да что уж там теплилась! Она бушевала, стучась в едва приоткрытую дверь, за которой брезжил свет, но собственных сил этой жизни еще не хватало, чтобы открыть ее шире. На какое-то мгновение мне показалось, что мы поняли друг друга – я и эта рвущаяся наружу жизнь, все еще осязаемая мной, как некая абстракция на кончиках пальцев. Потому что в захват этих пальцев, наконец, что-то попало – уже не пульсирующая пуповина или безжизненная оболочка, с которой стекали остатки влаги, а что-то очень нежное, хотя и относительно плотное. В следующую секунду, вновь орудуя пальцами, как пинцетом, я потянул на свет Божий перепачканную в крови крохотную младенческую ножку.

Зуддивай жестом приказал остановиться и показал на небольшой камень, обвязанный тонким сыромятным ремешком с петлей на конце. Я понял, что от меня требовалось. Стараясь быть предельно осторожным, я накинул петлю на кукольную ступню и отпустил камень. Он потянул ножку вниз в полном соответствии с ролью любого другого камня, к чему-либо привязанного. Мне же вдруг стало настолько все очевидным и ясным, что Зуддивай мог бы меня и не подталкивать, опасаясь заворачивающего действия этих необычных родов. И я просто ждал, когда, наконец, мать выпустит собственное дитя, приняв еще через минуту вторую крохотную ножку. А еще через минуту – и самого полузадохшегося младенца.

С остальным уже предстояло справиться старику. Я вышел из юрты, сопровождаемый слабым попискиванием ожившей девочки, и сел у порога прямо в пыль и высохшие горошины овечьего помета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.